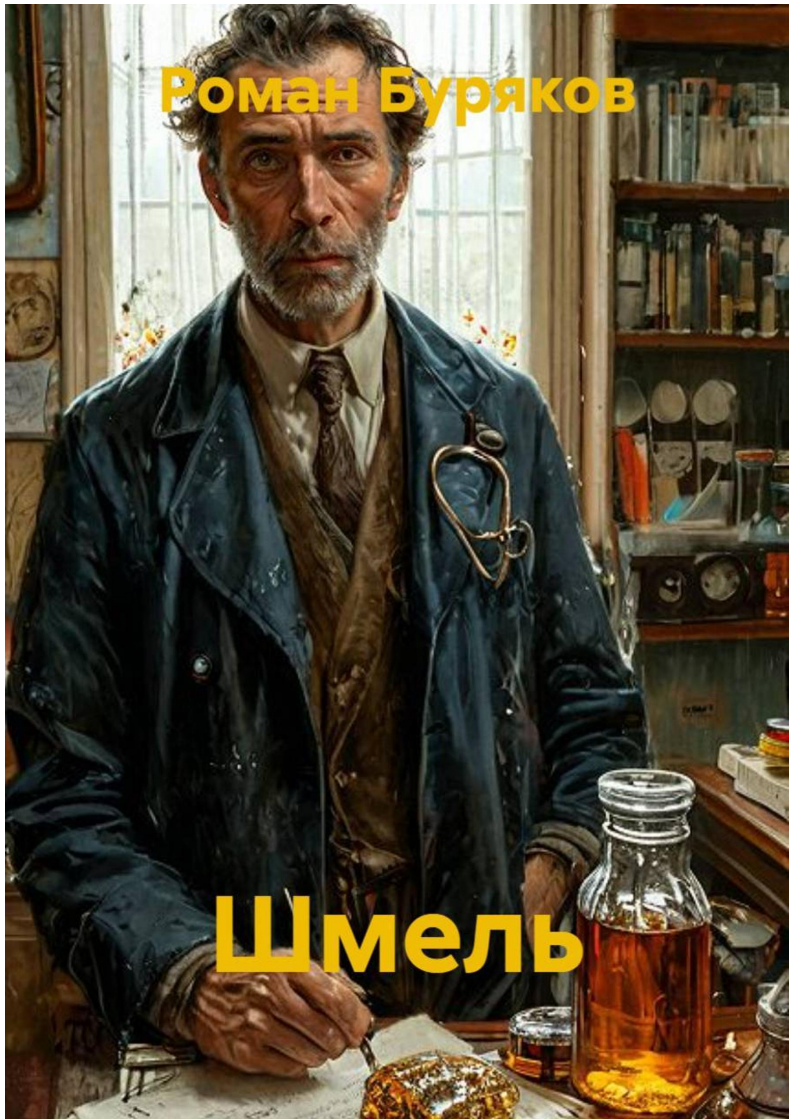


Роман Буряков

Шмель



Роман Буряков

Шмель

<https://litres.ru/74176178>

SelfPub; 2026

Аннотация

Провинциальный журналист, разоблачитель шарлатанов, попадает в квартиру к загадочному "доктору", который не лечит тело, а возвращает забытые линии судьбы. Его рецепты абсурдны: съесть банку меда, найти три потерянные в детстве вещи или вымыть полы в собственном подъезде. Но за этим кроется исцеление от фантомной боли — той, которой нет, но она чешется.

Герой вспоминает запах отца, которого не было десять лет, пишет письмо, которое никто не прочитает, и учится различать настоящую боль от воображаемой. Вместе с ним мы встречаем бизнесмена, моющего полы, и плачущего мужчину со старой газетой. А еще — шмеля, который летает вопреки законам физики.

Это книга о том, как не бояться жизни, даже когда осталось "всего сорок минут". О том, что прошлое можно не только пережить, но и переписать. И о том, что спасение часто ждет там, где кажется, что ничего нет.

Содержание

Эпиграф	4
Глава 1. Красный диван и восемь невыученных смертей	5
Глава 2. Эффект борща	17
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Роман Буряков

Шмель

Эпиграф

«А доктор сказал: все будет хорошо, но жить вам осталось минут сорок».

строчки из дворовой песни 90-х:

Глава 1. Красный диван и восемь невыученных смертей

Я узнал о нем совершенно случайно, как и положено узнавать о вещах, которые меняют жизнь. Не через интернет, не по телевизору, не от умных людей в очках с толстыми линзами. Мне рассказала о докторе женщина, которая поливала цветы на подоконнике в редакционной курилке. Ее звали Юля, и я никогда не запоминал ее фамилию, потому что она писала объявления в рубрику «Из рук в руки»: продам козу, сниму квартиру на сутки, обменяю холодильник «Зил» на собачью будку. Обычный человек из тех, что растворяются в фоновом шуме провинциальной газеты.

Так вот, эта Юля год назад развелась с мужем. История была банальная до зевоты: он ушел к молодой продавщице из ларька «Куры-гриль», оставил записку на холодильнике и забрал микроволновку. Юля плакала три месяца, пила настойку боярышника, которую ошибочно приняла за клюквенную наливку, и даже пыталась выброситься из окна второго этажа — не вышло, потому что под окнами рос густой куст сирени, и он просто поцарапал ей лицо.

А потом кто-то посоветовал ей сходить к доктору. Не к психиатру, не к терапевту, а именно к доктору. С большой буквы, хотя никто не произносил эту букву вслух.

— И что? — спросил я тогда, затягиваясь дешевой сигаретой, потому что в редакции платили так мало, что курить приходилось только «Приму». — Он выписал тебе антидепрессанты?

Юля отставила лейку и посмотрела на меня так, как смотрят на ребенка, который только что спросил, почему у новогодней елки нет корней.

— Он не выписывает антидепрессанты, — сказала она. — Он вообще ничего не выписывает. Иногда — варенье или мед. Одной женщине он дал задание переставить кровать в спальне из угла в центр. Другому мужчине велел три дня ходить на работу пешком по набережной, хотя его дом стоит прямо у проходной завода.

— И что? — повторил я, чувствуя, как в груди закипает привычное раздражение. Мне не нравились разговоры о чудесах. Я работал в газете пятнадцать лет и видел слишком много чудес, которые оборачивались финансовыми пирамидами и просроченными БАДами.

— Он посмотрел на меня, — сказала Юля. — Просто посмотрел. Минуты три, наверное. И знаешь, что он сказал?

— Нет.

— Он сказал: ты не жалеешь о муже. Ты жалеешь о том, что в седьмом классе не дала сдачи Кате Логиновой, которая обозвала тебя бледной поганкой. И тогда весь твой страх перед конфликтами превратился в привычку терпеть.

Я затушил сигарету о край банки из-под маринованных

огурцов, которая заменяла нам в курилке пепельницу.

— И что, это помогло?

Юля улыбнулась. Ее улыбка была спокойной, без той вымученной бодрости, которую я привык видеть у людей, переживших развод.

— Я нашла Катю Логинову в одноклассниках. Написала ей. Сказала: помнишь тот день у раздевалки? Она ответила через два часа: я каждую ночь это вспоминаю, ты тогда так сжалась, что я потом неделю ревела, потому что поняла — я монстр. Мы встретились. Выпили по бокалу дешевого портвейна. И знаешь, с того дня я перестала бояться. Не сразу, конечно. Но муж — этот, который к продавщице ушел, — он приполз через месяц, я его даже не звала. А я уже была замужем.

— За кем?

— За Петром. Помнишь Петю Крюкова, который в школьные годы кидался в меня мокрыми снежками? Вот за него.

Я засмеялся. Не от веселья, а от нелепости жизни.

— Так ты говоришь, он не лечит?

Юля взяла лейку и повернулась к фикусу, который уже давно требовал пересадки.

— Он не лечит, — сказала она тихо. — Он просто смотрит на тебя, и судьба сдается.

Я не поверил. Конечно, я не поверил. Пятнадцать лет в газете — это пятнадцать лет разоблачений бабушек, которые заряжают воду через телевизор, и экстрасенсов, которые ви-

дят прошлое по фотографии паспорта. У меня была выработана стойкая аллергия на все, что пахло метафизикой. Но под утро, лежа на продавленном диване и слушая, как за стеной сосед сверлит стену (он сверлил ее каждый день в двенадцать ночи, и никто не знал зачем), я поймал себя на мысли, что запомнил название улицы, о которой сказала Юля.

Куйбышева, дом восемнадцать, квартира семь. Вход со двора.

Я промучился три дня. Сначала отмахивался от этой мысли, как от назойливой мухи. Потом начал придумывать рациональные объяснения: проверю для статьи, возьму интервью, разоблачу шарлатана. А потом просто перестал врать себе и пошел.

Было утро вторника. Ранняя осень в N-ске — это не золотая пора, как в стихах, а серая липкая слизь, в которой тонут листья и надежды. Я доехал на маршрутке до остановки «Хлебозавод», прошел мимо ларька с шаурмой, где продавец Ашот каждое утро кричал: «Бери, брат, вкусная, я сам ел!» — и свернул во двор-колодец. Дом восемнадцать оказался хрущевкой с ободранными стенами, похожей на старуху, которая не выходит из дома уже лет двадцать.

Квартира семь находилась на первом этаже. Дверь была старая, выкрашенная когда-то зеленой краской, которая теперь отслаивалась, как кожа после солнечного ожога. Никакой вывески. Никакой таблички «Часы приема». Только маленький колокольчик, прибитый к косяку.

Я позвонил. Никто не открыл. Позвонил еще раз. Тишина. Уже развернувшись, чтобы уйти, я толкнул дверь — и она открылась.

Там не было регистратуры. Не было очереди из страждущих с анализами в пробирках. За дверью обнаружилась длинная коммунальная прихожая, пахнувшая нафталином и вареной свеклой. На стенах висели ковры с оленями, такие же, какие висели в детстве у моей бабушки. Под ногами скрипел древний паркет.

Я прошел до конца коридора и оказался в комнате, которую трудно было назвать кабинетом. Скорее, это был музей того, что люди выбрасывают слишком поздно. Старые часы с кукушкой, которая не высывалась. Швейная машинка «Зингер» на тумбочке. Стопка журналов «Наука и жизнь» за 1987 год. Банка с засохшими кистями. И красный диван.

Диван был огромным, бархатным, цвета засохшей вишни, с подлокотниками в виде львиных голов. Он стоял в углу, и на нем сидел мужчина. Не на краю, как обычно садятся в незнакомом месте, а развалившись, как у себя дома. Ему было лет пятьдесят, на вид — может, шестьдесят, трудно сказать. Лицо его казалось одновременно молодым и старым, как у людей, которые много плакали, но давно забыли, почему именно. На нем было осеннее пальто серого цвета, хотя на улице было всего плюс десять, и никто в здравом уме не надевал пальто в такую погоду. В руках он держал газету. «Из рук в руки», выпуск от 12 сентября 2009 года. И читал

он ее, судя по всему, не в первый раз — страницы пожелтели и истрепались по сгибам.

И он плакал. Беззвучно. Слезы стекали по его щекам в воротник пальто, и он не вытирал их, словно это был дождь, который прекратится сам собой.

Я замер в дверях. Мне стало неловко, как всегда бывает неловко, когда застаешь чужую боль врасплох. Я уже хотел развернуться и уйти, но в этот момент из смежной двери, завешенной выцветшим тюлем, вышел он.

Доктор.

Я ожидал увидеть старца с бородой до пупа или, наоборот, молодого человека в белом халате с планшетом. Но тот, кто появился передо мной, не подходил ни под один образ. Это был мужчина лет сорока, одетый в простую синюю рубашку с закатанными рукавами и потертые джинсы. Русые волосы небрежно зачесаны назад. В руке — кружка, из которой шел пар. Он выглядел как человек, который только что встал из-за стола, где доедал гречку с котлетой, и теперь с легким недоумением смотрит на незваного гостя.

— Вы ко мне? — спросил он.

Я кивнул. Голос почему-то отказывался слушаться.

— Раздевайтесь, проходите, — сказал доктор и кивнул на красный диван. — Присядьте пока. Я допью чай.

Он ушел в другую комнату, а я остался стоять посреди этого странного пространства. Мужчина в пальто не обратил на меня никакого внимания. Он перевернул страницу газе-

ты и продолжал плакать. Я сел на край дивана, стараясь не касаться его пальто. Подо мной пружина жалобно скрипнула — так скрипят качели, на которые сел слишком тяжелый человек.

Мы просидели в тишине минут десять. Я перебирал в голове заготовленные вопросы: кто вы, какое у вас образование, почему нет лицензии, не боитесь ли вы ответственности за лечение без диплома. Но почему-то ни один из них не казался уместным. Слишком глупо они звучали в этой комнате с часами без кукушки и ковром с оленями.

Наконец доктор вернулся. Кружка в его руках была уже пуста. Он поставил ее на подоконник, подвинул к дивану табуретку и сел напротив меня. Близко. Так близко, что я видел, как в его глазах отражается серое небо за окном.

— Расскажите мне, — сказал он, — о самом скучном утре этой недели.

Я растерялся. Вопрос застал меня врасплох. Я готовился к чему угодно: к анамнезу, к вопросам о хронических заболеваниях, к тому, что он попросит показать язык или измерить давление. Но самое скучное утро?

— Не понимаю, — выдавил я.

— Самое скучное утро, — повторил доктор спокойно. — День, когда ничего не случилось. Ничего важного. Ничего красивого. Вы проснулись, и жизнь была похожа на суп, который остыл и покрылся пленкой. Расскажите мне об этом.

Я закрыл глаза. И почему-то сразу вспомнил. Вторник.

Нет, среда. На прошлой неделе. Я проснулся в шесть утра, потому что сосед, который сверлит стену по ночам, на этот раз сверлил в пять утра. Поставил чайник. Электрический, китайский, купленный в переходе за пятьсот рублей. Обычно он закипает за две минуты, ровно столько времени я трачу на то, чтобы найти второй носок. Но в то утро он не закипал. Я стоял на кухне в трусах и майке, смотрел на маленькое красное окошко, где горели цифры температуры, и ждал. Прошло три минуты. Пять. Семь. Вода нагрелась до восьмидесяти градусов и застряла, как поезд перед закрытым переездом.

Я нажал на кнопку повторного включения. Чайник засопел, но температура не поднялась. Я постучал по нему пальцем. Никакого эффекта. Тогда я открыл крышку и заглянул внутрь. Там, на спирали, сидел маленький таракан. Мертвый. Он, видимо, заполз туда погреться и погиб смертью храбрых, обуглившись на раскаленной стали. Я выковырял его вилкой, выбросил в мусорное ведро, налил новую воду. Чайник закипел за минуту.

— И это все? — уточнил доктор.

Я открыл глаза. Он смотрел на меня с тем же спокойным вниманием, но в уголках его губ появилась легкая усмешка.

— Нет, — сказал я почему-то. — Не все. Потом я сел за компьютер, чтобы отправить утреннюю сводку главному редактору. Но пока ходил за чаем, моя собака — немецкая овчарка по кличке Мухтар, залез на мое кресло, положил ла-

пу на клавиатуру и отправил главному редактору сообщение. Не просто какой-то набор букв. Он отправил фразу. Осмысленную. Понимаете?

Доктор наклонил голову, как птица.

— Какую фразу?

— «Я шмель».

Я засмеялся, и мой смех прозвучал в этой странной комнате чужеродно, как звук бензопилы в библиотеке.

— Представляете? Я шмель. Главный редактор — это такой мужик лет шестидесяти, полковник запаса, он не понимает шуток. Он мне перезванивает и спрашивает: это вы мне только что написали, что вы шмель? Что это значит? И я стою с чашкой чая, смотрю на Мухтара, который спит на моей подушке и даже не извиняется, и понимаю, что мне нечего ответить. Я сказал: это творческий кризис, Василий Петрович. Он сказал: лечитесь. И повесил трубку.

Доктор молчал. Молчание затягивалось. Человек в пальто перевернул еще одну страницу газеты и всхлипнул.

— Вот так утро, — сказал наконец доктор. — Очень хорошее утро.

— Хорошее? — я удивился. — Это было самое глупое утро в моей жизни.

— Самое глупое — это значит самое честное, — ответил доктор. — Вы не ввали себе. Вы не пытались быть важным. Вы просто сидели и ждали, когда закипит чайник. И собака вам написала правду. «Я шмель». Вы знаете, почему шмель

по законам физики не может летать?

Я кивнул. Эту байку слышал каждый, кто хоть раз открывал журнал «Вокруг света».

— Шмель летает, потому что не знает, что не может, — сказал я.

— Именно, — доктор встал, подошел к старому шкафу, открыл дверцу и достал оттуда пол-литровую банку. В банке было что-то янтарное, густое, переливающееся в тусклом свете. — Вот. Выписываю вам.

Он протянул банку мне. Я взял ее в руки. Мед. Липовый, наверное, а может, цветочный — я не разбирался.

— Подождите, — я поставил банку на колени. — Это все? Я пришел к вам за советом, а вы даете мне мед?

— Не мед, — поправил доктор. — Лекарство. И совет. Ищи там, где кажется, что ничего нет.

— То есть? — не понял я.

— Вы найдете, — доктор посмотрел на меня, и в его взгляде не было ни насмешки, ни сочувствия. Только спокойствие, которое показалось мне почти оскорбительным. — Когда вы найдете, вы поймете, что я имел в виду. Я вышел из комнаты, чувствуя себя полным идиотом. В руках у меня была банка меда. За спиной остался плачущий мужчина с газетой 2009 года. Доктор не взял денег. Не назначил повторный прием. Даже не спросил, как меня зовут.

Дома я поставил мед в шкаф и лег спать. Но не уснул. Лежал на том же продавленном диване, смотрел в окно на обла-

ка, и пытался понять, что, черт возьми, со мной произошло.
«Ищи там, где кажется, что ничего нет».

Что это значит? В холодильнике? В старых фотографиях? В мусорном ведре, куда я выбросил таракана? Я перебирал варианты, отбрасывал их, снова возвращался. Сосед сверлил стену. Сверлил методично, с перерывами на перекур. Казалось, он не пытается повесить картину — он пытается пробурить тоннель в мою квартиру.

В три часа ночи я встал, открыл холодильник и съел ложку меда прямо из банки. Мед был терпким, с легкой горчинкой. И в этой горчинке мне вдруг почудилось что-то знакомое — запах школьного спортзала, смесь линолеума, пота и почему-то мандаринов.

Я закрыл холодильник, лег и наконец провалился в сон без сновидений. А когда проснулся, на подушке у моего лица лежалдохлый шмель. Я не знаю, откуда он взялся в квартире на девятом этаже. Я живу в панельной девятиэтажке, вокруг только асфальт и гаражи-ракушки. Шмели там не водятся.

Но он лежал. Крылья сомкнуты, полоски желтого и черного, лапки поджаты. И я вдруг подумал: а что, если это тот самый шмель? Тот, который не должен летать, но летает? Тот, которого я написал главному редактору, сам того не зная?

Я взял шмеля в руку. Он был легким, как пепел.

И в эту секунду я понял, что вернусь к доктору. Не через неделю. Не через месяц. А сегодня же. Потому что где-то внутри, в том месте, где обычно прячутся страхи и невы-

ученные смерти, я услышал тихий голос: «Ты ищешь там, где есть. А надо там, где ничего нет».

Я не знал, что это значит. Но банка с медом стояла на столе, и на ее крышке, оказывается, было написано от руки сильней шариковой ручкой: «Для того, кто боится тишины. Принимать ложкой. Без воды».

Я не боялся тишины. Или боялся, но не знал об этом. Как шмель, который не знает законов физики.

В общем, я решил, что схожу с ума. И почему-то это решение меня успокоило.

Глава 2. Эффект борща

Две недели я прожил как во сне. Не в том сладком, уютном сне, где летаешь над полями или встречаешь умерших родственников, а в том тягучем, тревожном полусне, когда кажется, что реальность вот-вот треснет по швам и из трещин полезут наружу вещи, которые ты старательно прятал в дальний угол сознания.

Мед я съел за четыре дня. Ложкой. Без воды. Стоя у открытого холодильника в три часа ночи, потому что именно в это время мед казался самым целебным. Или самым опасным — я так и не понял. Вкус его менялся с каждым разом: сначала он был липовым, потом гречишным, потом вдруг отдавал дымом, а под конец — почему-то мятой. Хотя мятного меда не бывает, я точно знаю, потому что моя бабушка держала пасеку в деревне под Рязанью и каждое лето возила на рынок банки с этикетками, написанными от руки.

На пятый день я проснулся с четким убеждением, что доктор — шарлатан. Самым обыкновенным, каких сотни разоблачали в нашей газете. Просто он более талантливый актер, чем остальные. И красный диван у него хороший, создает атмосферу. И пациентка Юля, которая вышла замуж за школьного обидчика, — возможно, просто подставное лицо, которое получает процент от каждого приведенного клиента.

Я даже начал писать статью. Набрал в редакционном вор-

де заголовок жирным шрифтом (мысленно жирным, потому что на работе мы экономили даже на тонере): «Чудо-доктор из Куйбышева: лечение судьбой или бизнес на отчаянии?» Написал три абзаца, прочитал их вслух своему Мухтару, который спал на кипе старых газет, и понял, что статья выходит фальшивой. Слишком много злости. Слишком мало фактов. Как будто я пытался доказать самому себе то, во что на самом деле не верил.

Мухтар открыл один глаз, посмотрел на меня с выражением глубокого презрения, которое умеют передавать только немецкие овчарки и старые учительницы литературы, и снова закрыл его.

— Иди ты, — сказал я собаке.

Она не ответила. С тех пор как она отправила главному редактору сообщение «я шмель», я с ней почти не разговаривал. Не из обиды. Просто боялся, что она снова напишет что-нибудь в том же духе.

А потом случилось то, что случается, когда вы меньше всего этого ждете. Я разбирал кладовку. Не потому, что настала генеральная уборка и весеннее обострение перфекционизма, а потому, что сломался пылесос, и мне нужно было найти гарантийный талон, который я засунул в коробку из-под чайника два года назад. Кладовка у меня — это отдельный мир, населенный вещами, у которых нет ни настоящего, ни будущего, одно только прошлое. Там лежали лыжи, на которых я не катался лет пятнадцать, гиря, которую

я поднимал ровно один раз в жизни и потом три дня лечил спину, кипа журналов «Maxim» за две тысячи восьмой год, старый монитор с электронно-лучевой трубкой, который весил как хороший телевизор, и бесчисленное количество проводов, назначение которых не смог бы определить даже мой учитель по физике.

Я рылся в этом хламе, чихал от пыли и проклинал себя за то, что никогда ничего не выбрасываю. Рука наткнулась на что-то твердое, плоское, засунутое между страницами «Комсомольской правды» за две тысячи пятый. Я вытащил это. Фоторамка. Деревянная, с облупившимся лаком, стекло треснуто от угла до угла.

Я перевернул ее.

На фотографии был мой отец.

Он стоял на крыльце нашего старого дома, того самого, который снесли в две тысячи девятом, когда пришла программа расселения ветхого жилья. На нем был свитер крупной вязки, серый, с высоким воротом, такие в девяностых продавались на вещевых рынках и назывались «финские», хотя на самом деле их вязали где-то в подмосковном подвале. Волосы его были еще темными, без седины, хотя мне на момент фотографии было уже лет двенадцать, а ему под сорок. Он улыбался. Не той широкой, открытой улыбкой, которую я иногда видел у него в минуты редкой радости, а так, чуть заметно, уголками губ, как будто знал какую-то важную тайну и решил не рассказывать ее вслух, оставить на потом.

Я смотрел на фотографию и вдруг понял одну странную вещь. Я не помнил, как пах отец.

Не то чтобы я забыл его совсем. Я помнил его голос — низкий, чуть хрипловатый, с характерным рязанским «оканьем», которое он так и не смог вытравить за тридцать лет жизни в городе. Я помнил, как он стригся — всегда под ноль, потому что косметологов не признавал и ходил к соседнему дяде Вите, который стриг машинкой на кухне. Я помнил, как он смотрел хоккей, сидя в кресле-качалке, которое сам починил, потому что сломалась спинка. Я помнил, как он варил гречку и никогда не солил ее, а потом посыпал сахаром, и это было отвратительно, но он ел с удовольствием. Я помнил его руки — с вечно черными ногтями, потому что он работал слесарем в автосервисе и мыть их можно было хоть три раза в день, все равно кожа не отмывалась.

Но запах.

Я закрыл глаза и попытался представить. Обычно люди, которые теряют близких, через некоторое время не могут вспомнить их голос, лицо начинает расплываться, черты стираются, как старая фотография на солнце. У меня было наоборот. Лицо отца я видел четко, до каждой морщинки вокруг глаз. А запах исчез. Словно его никогда и не было. Словно он был призраком, а призраки не пахнут.

Я сидел на корточках посреди кладовки, держал в руках фотографию и чувствовал, как внутри что-то ломается. Не с треском, не с хрустом, а тихо, беззвучно, как ломается лед

на реке весной — вроде бы еще целый, а уже проваливается под ногами.

Отец погиб десять лет назад. Нелепая смерть, из тех, которые не вписываются в биографию. Он возвращался с работы, остановился у ларька купить хлеба, и в этот момент с крыши соседней пятиэтажки сорвалась сосулька. Огромная, размером с холодильник. Он даже не успел понять, что случилось. Скорая приехала через семь минут, но он уже умер, перелом шейных позвонков, несовместимый с жизнью.

Мне тогда было двадцать пять. Я работал в газете уже три года, писал заметки о городских происшествиях и думал, что знаю о жизни все. На похоронах я не плакал. Стоял с каменным лицом, принимал соболезнования, кивал, говорил «спасибо», а внутри была пустота, такая огромная и холодная, что, казалось, туда можно было поместить целый город. Я не плакал потом ни на девятый день, ни на сороковой, ни на годовщину. Я просто перестал думать об отце. Вычеркнул его из повседневности, как вычеркивают из телефонной книги номер, который больше никогда не пригодится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.